

# Чувство чести

МЕМОАРЫ

В издательстве «Аграф» под названием «Эпилог» вышли мемуары Вениамина Каверина.

— один из главных писателей советской эпохи, осуществившийся как автор европейского масштаба вопреки советской власти. Наверное, недооценил, но... если бы совсем не заметил этой силы, не стал бы так подробно рассказывать о судьбе уничтоженного режимом писателя.

Конечно, Каверин мог заблуждаться в своих пристрастных литературных мнениях, но попросту не разглядеть способностей он не мог. А характер был таков, что эстетическая оценка не опережала этическую.



— Вениамин Каверин

Работа над исповедью заняла годы, а эпохи мелькали. Мне радостно, что Вениамин Александрович успел увидеть новое небо. Успел выступить на мандельштамовском вечере в ЦДЛ. Здание, помнившее многие «проработки» и банкеты, похороны и дебоши, все ходило ходуном и сотрясалось от грохота невероятных слов. По внутреннему радио передавалось стихотворение Мандельштама, ставшее эпиграфом ко второй части каверинского «Эпилога»:

*Мы живем, под собою не чуя страны.*

*Наши речи за десять шагов не слышны...*

Воспоминания старого «сюжетчика» увлекают переплетением судеб и игрой страстей, сложной драматургией. По чистой совести книга заслуживает того, чтобы ее прочли, и нет необходимости это жизнеописание пересказывать. Должно быть, лучше мне поделиться кое-чем из собственных воспоминаний о Вениамине Александровиче. Он отнесся к моим юношеским стихам и моему появлению сочувственно. Может быть, учитывалось и то, что я искал советов Каверина, общения с ним в то время, когда он был в суровой опале и ощущал боязливость некоторых старых знакомых, познал все уныние изоляции. Произошла катастрофичес-

кая история с публикацией на Западе личного, полного упреков, письма к Федину. Предполагалось, что эта публикация — дело самих органов. Бессмертна («зубатовщина») Очевидно, я вызывал доверие у Каверина, но, впрочем, все равно он был открыт нараспашку, так как в отношениях с властью уже зашел слишком далеко. Книгу, вот эту самую, которую я сейчас пытаюсь рецензировать, он неутомимо писал и в дни нашего тогдашнего общения. Никаких иллюзий о значительности своей литературной работы он тогда не имел: «Если бы я писал, как Бунин! Но этого нет, и в нынешнем своем положении я могу только любить русскую литературу и служить ей». Прозаик, он всю жизнь любил стихи. Однажды с некоторым смущением показал мне свой отроческий опыт — странноватое стихотворение о побеге Калиостро. Я с молодой самоуверенностью снисходительно одобрил, он усмехнулся... Его жизнь была кровно связана с судьбой русской прозы. Опубликованный роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был для Каверина чем-то вроде открытия в грозе и буре. С горечью размышляя о собственной неудаче, он любил литературу намного больше, чем себя и свое творчество. Здесь уместна фраза из его воспоминаний: «Ведь память приводит в движение совесть, а совесть всегда была душой русской литературы».

Мы прогуливались по улицам писательского Переделкина, ходили по перелескам. О некоторых встречных письменниках он высказывался без большого пиетета, с иными не здоровался. Почтительно говорил о Солженицыне: «Вот, поверьте, у меня — большой литературный опыт: две лучшие книги XX века — «В круге первом» Солженицына и «По ком звонит колокол» Хемингуэя».

Сознаюсь, Каверин не во всем меня убедил, я волен не соглашаться с его оценками, но, уж если вспоминаю, обязан сохранить их как беспристрастный свидетель. Дело здесь не в литературных спорах. В конце концов не существенно (только для меня важно) даже и то, насколько лично я с годами оправдал его ожидания и потраченное время. Конечно, он жил будущим словесности и однажды произнес стертое, но точное слово «стафета». Однако больше всего его волновало не то, что и как я собираюсь писать (этого я и сам не знал), а как буду жить, занимаясь литературой: «Если будете писать, как им надо, то скоро получите квартиру в Лаврушинском переулке и дачу в Переделкине!»

Причастность к определенной советской касте тяготила и раздражала. Пытаясь отмежеваться, он сказал, что на постройку дачи не брал ссуды в Литфонде, что она куплена на гонорары. Всегда был брезглив и щепетилен: от казался читать лекции в Литинституте, когда за часовую непринужденную беседу о литературе ему как видному писателю принесли несообразно большую сумму.

...Мы остановились под большой сосной.

— Сколько вам лет? — спросил Вениамин Александрович.

— Двадцать два.

— Я познакомился с Константином Симоновым, когда он был в вашем возрасте. Он изложил мне гениальную теорию поочередно взятия пяти Сталинских премий. И взял шесть...

В голосе Каверина звучала надежда, что люди моего литературного поколения попытаются прожить жизнь как-нибудь иначе.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

Отдельные очерки, включенные в этот том, печатались раньше в периодике, выходили небольшими книжками. Достоинства нового издания — окончательная полнота, свод сопутствующих документов, редкие фотографии. Единственный недостаток — удручающее изобилие постыдных опечаток.

Воспоминания Каверина — прежде всего цельная, единая книга, охватившая советский период во всей его протяженности. В общем, это драматическая история российской словесности XX столетия и советского контроля над нею. От ЧК до КГБ. Начинается повествование засадой чекистов, подстерегающих левого эсера Виктора Шкловского на квартире Тыняновых... Сменяются эпохи: РАПП и ЛЕФ, Первый съезд Союза писателей, вселивший такие надежды в легковверных и оказавшийся на деле ловушкой и явлением коллективизации «единоличников»... 37-й год, блокада, серия послевоенных истребительно-идеологических кампаний. Наконец, новые времена и новые имена... Судьба каждого из «Серапионовых братьев», Горький (свидетельства о нем поразительны), Маяковский, Тынянов, Заболоцкий, Фадеев, Солженицын, Твардовский... Деградация Шкловского и Тихонова, предательство Федина, сопротивление Шварца, мученичество Зошенко, мужество Пастернака...

Каверин создал горестный и увлекательный роман о временах и нравах, о друзьях и недругах, о писателях и не только о писателях. Многие подлинные эпизоды превосходят фантастичностью раннюю прелестно-головоломную вымышленную фантастику автора «Мастеров и подмастерьев». Как, например, судьба старшего брата, великого биолога Льва Александровича Зильбера. Очень был выраженный характер у автора воспоминаний. Безоглядно-дерзкий, независимый. Щедрость, самоотверженность, сострадание. Все это чувствуется, пробивается, живет в воздухе, окружающем текст. Вот что, между прочим, написано в дневнике Шварца о Вениамине Александровиче: «Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина».

Еще живет и, надо думать, долго будет жить (несмотря на смену времен) неподдельное обаяние «Двух капитанов», этой объективно не совсем правдивой, но чистой тем не менее книги. Это были бессмертные иллюзии, настало все же время и для пророчия с привычной слепотой... Русский литератор Вениамин Каверин увидел как бы пепелище родного дома. Поэтому так суров его суд над Шкловским и Фединым и так беспощаден приговор, выносимый Алексею Толстому и Валентину Катаеву. Каверин словно бы не хочет замечать в трусливых душах талантов и дарований, судит человеческую слабость и человеческую подлость. Должно быть, не всегда прав. Но неизменно искренен и бескорыстен. И всего строже и безжалостнее следствие, которое ведется в глубине своей души. Речь идет об упущенных возможностях, духовных и литературных, о самых болезненных поражениях.

Откуда этот «самобичующий протест», этот дух непокорного правдоискательства? Я думаю сейчас и о цеховом кодексе русской литературной (выветрившейся в советские годы) среды. И об этой военнотрудовой кантонистской породе, поколениями тянувшей солдатскую ляжку. Об этой привычной верности присяге, о честности и чувстве чести.

Мне кажется, что Каверин недооценил прозу Леонида Добычина. Теперь видно, что это